

Юрий НАГИБИН



Утраченная музыка.
Избранное



ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Всемирная литература

Юрий Нагибин

Утраченная музыка. Избранное

«ЭКСМО»

1991

Нагибин Ю. М.

Утраченная музыка. Избранное / Ю. М. Нагибин — «Эксмо»,
1991 — (Всемирная литература)

ISBN 978-5-04-154716-5

В сборник вошли произведения Юрия Марковича Нагибина «Школьный альбом», «В те юные годы», «Недоделанный», «Гимн дворняжке», «Прекрасная лошадь» и «Телефонный разговор».

ISBN 978-5-04-154716-5

© Нагибин Ю. М., 1991

© Эксмо, 1991

Содержание

Школьный альбом	5
1	5
2	8
3	13
4	16
5	18
6	20
7	23
8	25
9	27
10	29
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Юрий Нагибин

Утраченная музыка. Избранное

Школьный альбом

Быль

1

Мне оставили этот большой альбом в красном коленкоровом переплете, на титульном листе которого старательно выведено тушью: «311-я школа, выпуск 1938 года», чтобы я заполнил два чистых листа – в одном разделе: «Они сражались и погибли за Родину» – на Павлика С., моего первого и лучшего друга, в другом: «Здоровья и счастья» – на самого себя, которому это пожелание в самый раз. Есть еще третий раздел – «Вечная память» – о безвременно ушедших: от старых ран и недугов войны, как Володя А., или от мирных болезней, как автодорожник Люсик К., или от самогубления, как инженер Юра П.

Есть особая судьба, и я жалею, что не мне поручили написать о Ляле Румянцевой. Досрочно окончив медицинский институт, она пошла работать врачом в лагерь немецких военнопленных армии Паулюса; те привезли из-под Сталинграда жестокий тиф, Ляля заразилась и умерла – двадцати трех лет. Но мои школьные друзья, составители альбома, рассудили иначе – наверное, справедливо, – что о Ляле должны написать Ира и Нина, учившиеся с ней в школе с первого до последнего класса, затем в институте с первого до последнего курса и метавшиеся в тифозном бреду на соседних госпитальных койках. Лишь здесь их пути разошлись: Ляли не стало, Ира и Нина вернулись в жизнь.

Впрочем, о Ляле я уже писал раньше, есть у меня такой рассказ в книге «Чистые пруды» – «Женя Румянцева», где в образе героини соединились черты двух моих соучениц: Ляли Румянцевой и Жени Рудневой – называю и последнюю полным именем, ибо оно принадлежит истории. Майор Руднева – штурман легендарного женского бомбардировочного полка Марины Расковой – посмертно удостоена звания Героя Советского Союза, о ней написаны книги, ее замечательный по искренности дневник выдержал много изданий. Почему я соединил двух девушек в одну – сейчас мне и самому трудно разобраться. Все же попробую. С Женей меня в школе ничего не связывало. Мы учились в разных классах, она была секретарем комсомольской организации, самой видной общественницей школы, я же являл собой полное отрицание всех Жениных устоев: индивидуалист, злостный прогульщик (к тому же с ведома и одобрения родителей) и пусть не хулиган, не дебошир, но тихий хамила, читавший на уроках постороннюю литературу и дерзивший учителям, которых Женя глубоко почитала всей своей большой и теплой душой. Но более всего смущало прямолинейную и бесхитростную Женю, что при таком недостойном поведении учился я, подобно ей, на одни пятерки, чем являл особый соблазн для слабых и неустойчивых натур. Это разрушало Женины представления о добре и зле, о нравственной основе жизни. Однажды она попыталась провести со мной душевную беседу, но я высмеял ее бессильные потуги вернуть меня на путь истинный. Женя скинула русую прядку на взблеснувший слезой глаз и отступилась. Мы не перемолвились больше ни словом до окончания школы, а после выпускного вечера разошлись – навсегда.

Женя поступила на механико-математический факультет МГУ, но мечтала стать астрономом. Она была деятельным членом Московского отделения Всесоюзного астрономического общества. «Мне хочется открыть хоть маленькую звездочку, – признавалась она друзьям. –

Пусть будет на небе и мой светлячок». Возможно, это честолюбие, но такое милое и трогательное!

Война перечеркнула все ее планы. Женя была на редкость цельной натурой, и не могло быть сомнений, какой путь она выберет. В нашем альбоме о Жениной военной судьбе сказано с протокольной точностью и краткостью. Текст помещен сбоку от портрета той Жени, которой я уже не знал, – двадцатилетней и красивой. В ее лице таинственно соединились открытость, мягкость с волевой завершенностью черт, упрямая крутизна лба искупалась полуулыбкой добрых губ, а в моей памяти Женя осталась полноватой, рыхлой девчонкой-нескладехой.

Из альбома: *«В начале октября 1941 года по призыву ЦК ВЛКСМ на наборе девушек в армию Женя Руднева среди первых была рекомендована в женскую авиационную часть Героя Советского Союза Марины Расковой. В мае 1942 года после окончания авиационной школы истребитель звена ночных бомбардировщиков Евгения Руднева вылетела на фронт в район Северного Кавказа. В марте 1943 года она вступает в члены КПСС, и в этом же году её назначают истребителем полка. За участие в освобождении Кубани женскому авиационному полку, где служила Женя, было присвоено звание гвардейского (гвардейский Таманский полк)».*

От меня: Женя, как и все ее подруги по полку, летала на У-2, у нас эти фанерные одновинтовые самолеты прозвали «кукурузниками» – они могли при необходимости сесть на кукурузное поле и схорониться среди стеблей, а у немцев – «бесшумной смертью», «ночными дьяволами» – их нельзя было засечь улавливающими устройствами и поразить из зенитных орудий; они шли на бомбометание с выключенными моторами и слишком низко, чтобы осколки зенитных снарядов могли причинить им вред, требовалось лишь прямое попадание.

Из альбома: *«В ночь на 9 апреля 1944 года, совершая свой 641-й боевой вылет на бомбежку вражеских позиций, Женя Руднева погибла. Это было под Керчью. Имя Жени Рудневой внесено в книгу Боевой славы. 26 октября 1944 года Евгении Максимовне Рудневой за мужество и отвагу присвоено посмертно звание Героя Советского Союза».*

Звездная мечта Жени осуществилась: Золотая Звезда увенчала подвиг, а Всемирное географическое общество назвало Жениным именем вновь открытое небесное светило. И когда мы праздновали наше общее шестидесятилетие в моем загородном жилье, с ночного подмосковного и юньского неба на нас глядела и Женина звездочка.

В рассказе «Женя Румянцева» герой уговаривается после школьного выпускного вечера с девушкой, которой он нравится, ничуть о том не подозревая, встретиться через десять лет в среднем пролете между колоннами Большого театра. В назначенный срок он является к месту свидания, зная, что девушка эта погибла на фронте. Судьба девушки подобна судьбе Жени Рудневой. Но я ей, надо сказать, не нравился, и мы никогда не уславливались о подобной встрече. Уславливались мы с Лялей Румянцевой, и в тот миг на меня пахнуло странной, неожиданной нежностью, оставшейся запоздалым сожалением в моей душе. О Лялиной судьбе я узнал по окончании войны, но свое обещание выполнил и в должный час пришел к Большому театру с букетом цветов, который отдал потом какой-то одинокой девчонке.

По своему максималистскому характеру Ляля напоминала Женю, равно как и по безоглядности общественной отдачи. И она была такой же прямой, жестко честной, требовательной к себе и к другим. Но у нее эти волевые качества растворялись в стихии женственности.

Ляля была стройна и спортивна, в девичьем ладном облике проглядывал близкий женский расцвет. Женя оставила школу серьезной и неуклюжей девчонкой с плохо координированными движениями, набивавшей шишки обо все углы, – самым трудным предметом для нее была физкультура. Самолет – продолжение тела летчика, к тому времени, когда Женя поднялась в небо, она обрела полную власть над своей созревшей плотью, стала ловкой, крепкой и ладной, и, словно отвечая этому чуть запоздавшемуся превращению, пришла к ней первая и последняя любовь.

Женя обрела то, чем владела Ляля, а Ляля оказалась несостоявшейся Женей. По своей высокой и решительной душе она имела право на подвиг и непременно совершила бы его, если бы жизнь ее не оборвалась так внезапно и нелепо. Но разве ее смерть не была подвигом? Она лечила, спасала тех, кого должна была ненавидеть, до конца оставалась верна клятве Гиппократу, которую в суматохе ускоренного выпуска даже не успела дать. Но это не тот подвиг, о котором слагают песни, пишут книги, и мне захотелось как-то исправить допущенную жизнью несправедливость. Пусть Женя поделится с подругой своим подвигом, а Ляля – тем очарованием, которым в школьную пору Женя не успела открыться. И две девочки, Женя Руднева и Ляля Румянцева, соединились в рассказе в одну – Женю Румянцеву.

И в альбоме, по-моему, неверно было их разъединять: Ляле отвели место среди «Безвременно умерших». Нет, Лялю тоже надо считать фронтовичкой, отдавшей жизнь на поле боя.

Женя Руднева – наша слава, наша гордость, наша боль, но она принадлежит не только нам, и я называю ее здесь полным именем, то же самое делаю в отношении Ляли Румянцевой, чтобы уравнились они в памяти, коль не случилось этого при жизни. Но больше так я никого называть не стану. Я оставляю моим друзьям лишь имена, под которыми знал их в школе и которые указаны в альбоме, и первую букву фамилии, чтобы не спутались тезки. И вовсе не потому, будто считаю их хуже знаменитой Жени Рудневой или безвестной, трагически ушедшей Ляли Румянцевой – нет, нет и нет! Но Женя, повторяю, вырвалась из-под моей власти: судьба девушки, которая шла на смерть не раз, а шестьсот сорок один раз, стала всеобщим достоянием; Ляля же у меня повязана с ней, что заставляет называть и ее полным именем. Но я не могу говорить с такой уверенностью знания ни о других ушедших, ни тем паче о живых, чья судьба пребывает в движении, развитии. Они не уполномочивали меня быть их Пименом. Писать же без внутренней свободы нельзя. А свободу эту можно обрести лишь одним – никаких полных имен. И тут уж не должно быть исключений, кроме оговоренных выше. Это не всегда легко, особенно когда приходится любимейшего друга называть Павликом С. Есть еще одна причина, почему я должен обходиться без фамилий: не всем нам повезло в жизни, не все были всегда правы и перед другими, и перед самим собой, но перед нами и этим альбомом на них нет вины. Так чего же потащу я их на суд людской? Того же, за кем мы такую вину числим, нет в альбоме, но об этом подробнее будет сказано в конце. Не знаю, насколько убедительно обосновал я свое решение, похоже, что не очень-то, но, думаю, оно покажется справедливым по мере чтения этих записок...

2

Не случайно сразу за Женей Рудневой страница альбома отдана Павлу Г. О нем написала наша одноклассница Сарра М., соседка Павла по дому бывших политкаторжан на Покровке.

Из альбома: «...Павел Г., Павел, Павлик – самый серьезный из нас, молчаливый, задумчивый, он был полон доброты и доброжелательности. Он обладал редким даром сопереживания, всегдашней готовности разделить и принять на себя тяжесть чужих огорчений. Он был другом в трудный час. Его серьезность, взрослое чувство ответственности делали его нечестную веселость и органическое умение радоваться чужой радости еще более пленительными.

Он был нашей совестью. Он не знал компромиссов, столкнувшись с тем, что считал недостойным. Его порядочность в таких случаях проявлялась не доказательствами и спорами – он, смешино надувшись, что-то бормоча под нос, не желая разговаривать, уходил, и это было сильнее всяких объяснений.

Как часто, когда мы шумели и спорили, он, заложив руки за спину, молча ходил, размышляя, ничего не слыша, замкнувшись в свои мысли. В отличие от нас его жизнь была очень трудна, ранняя тяжелая болезнь сделала его мать инвалидом. Он был хорошим сыном – добрым, внимательным и работающим. Он хорошо учился, не для отметок, его многое интересовало, особенно точные науки, его отношение к занятиям было не школярским, как у многих из нас, и знал он больше, чем мы. Так уж считалось, что он получит техническое образование, но он решил стать врачом.

Врач – вот было его человеческое назначение. Его душевные качества не могли не вылиться в это решение. Это не будет мистикой – сказать, что не только он, но и его избрала медицина. Такие избранники бывают редко. Когда он, еще не дипломированный врач, оперировал раненого в палатке полевого госпиталя, начался налет немецкой авиации. Он лег на раненого, закрыв его своим телом. Палатка полевого госпиталя не защитила их – они были пробиты одним осколком – врач и боец.

Нельзя оскорблять память нашего друга рассуждениями о том, что он мог бы спасти, – для него выбора в этот миг не существовало. И незачем писать о памяти. Он с нами, пока мы живы, – он жив. Ты с нами, Павел, друг наш».

Павел Г. был чуть ниже среднего роста, худощав, с какой-то странной ныряющей походкой, а ноги ставил по-балетному – носками врозь. В классе ничего не знали о его домашней жизни и вообще мало знали о нем. Между нами и Павлом стояла математика. Он постоянно решал задачи: в младших классах – арифметические, потом алгебраические, а в старших вместе со своим единственным школьным другом, блестяще одаренным Колей Р., предавался магии интегралов и дифференциалов. Свою напрягающуюся над высшей математикой мысль Павел оберегал, зажав уши и сцепив пальцы на затылке. Отрешенным взглядом смотрел поверх или сквозь окружающих, что-то вечно искал в лишь ему ведомых пространствах. Он не стремился к одиночеству, но умел создавать его среди любой шумной компании, чтобы оставаться со своими мыслями. Блез Паскаль признавался, что серьезное мышление занимало ничтожно малое время в его жизни, наш Павел всегда был нацелен на серьезное. Его миновали и наши грехи и наши доблести: он не хулиганил, не курил в уборной, не хвастался, не дрался, не бегал за девочками, не занимался спортом и не глотал тоннами увлекательное чтиво. Он думал... И решал он не только математические, но и нравственные задачи. Одна из главных – выбор профессии. Конечно, он наступил на горло своему истинному призванию, решив стать врачом. Душевная самоотверженность подавила мозговую склонность...

Помню, как удивило меня восклицание моей матери, впервые увидевшей Павла Г.: «До чего красивый мальчик!» Мне и в голову не могло впасть, что неприметный, весь в себе, Павел красив, что у него вообще есть внешность, заслуживающая внимания. Красивы были герои

Чистопрудных ристалищ с прической «под бокс», папироской в углу презрительно сжатого рта, хмуро-дерзким прищуром из-под лакированного козырька «капитанки», с напульсниками на крепких запястьях и мужественными фингалами. Мать почувствовала, что я не понял. «У него серебряные глаза. Боже, ни у одного человека не видела я серебряных глаз!» Я свято верил каждому слову матери и тут же обнаружил, что наш скромный Павел сказочно красив: светло-серые, прозрачные глаза его и впрямь отсвечивали серебром. Но потом я опять перестал замечать серебро радужек вокруг его удлинённых, глубоких и темных зрачков, да и самого-то Павла едва видел – слишком полярны были наши интересы.

Сейчас я смотрю на фотографию Павла, помещенную в альбоме, – как же красиво, одухотворенно, возвышенно это чистое и серьезное, среброглазое юношеское лицо!..

Сарра М., так хорошо написавшая о Павле, открыла мне, что наш молчаливый друг был куда понятнее и ближе ребятам, знавшим его не только по школе, но и по большому дому бывших политкаторжан, где шла его главная, трудная и самоотверженная жизнь.

Сарра до последней минуты не знала, примет ли участие в общем дне рождения: у нее очень больное сердце. И вот она с нами – удивительно моложавая, стройная, подтянутая, строго и хорошо одетая и такая интересная, какой не была даже в юности. Но она ничего не ест и не пьет, только подносит к губам рюмку с вином, когда произносится очередной тост. Хотя я не считался хозяином – хозяевами были мы все, – встреча как-никак происходила «на моей территории», и это невольно понуждало меня к повышенной пристальности. Набрав в тарелку еды, я подошел к Сарре. «Ты что – голодовку объявила?» – «Все в порядке, – голос прозвучал чуть резко. – Только не надо ко мне приставать. Прости. Не сердись». Я понял, чего стоил Сарре приезд сюда, каким волевым напряжением оплачены ее прекрасная форма, подтянутость, сиюминутная пригожесть...

Всю свою трудовую жизнь, закончившуюся раньше срока из-за болезни, Сарра была библиотечаршей в театральной библиотеке. Находиться постоянно возле книг, так хорошо владеть словом, это видно по тем двум страничкам, что она написала о Павле, и не стать, пусть тайно, писательницей – такого быть не может. Я сказал ей об этом. Она пожала плечами. «Это все, что я написала за всю мою жизнь. И впервые поняла, до чего же непосильное дело – литература. Теперь я преклоняюсь перед писателями. Вы – мученики!» – «Не стоит преувеличивать, – возразил я, – Святых Себастианов среди нас куда меньше, чем арбалетчиков».

А потом кто-то сказал в тосте, что вся жизнь Павлика была лишь ради единственного мига, когда он прикрыл собой раненого. Сарра побледнела от гнева. «Это чисто поэтическая мысль – красивая и пустая. И дурная к тому же. Он родился и зрел, чтобы прожить большую, нужную, серьезную жизнь. Павел поступил так, как только и мог поступить, но плохо думать, что его душа томилась в предбытии миллионы миллионов лет ради одной коротенькой вспышки. Нет, нет!.. Не надо всегда все оправдывать, благословлять и превозносить только потому, что это было». – «А что надо?» – «Не знаю. Отвергать, не соглашаться, протестовать, вопить, плевать в бороду бога, может, тогда все мертвые вернуться...»

Странный инструмент – человеческая память! Только из-за того, что о Павле заговорили, я обнаружил в себе неведомые запасы воспоминаний. Это случилось в ту недолгую пору, когда «открытый» мамой Павел стал для меня прекрасен, как небожитель. Наша классная руководительница Мария Владимировна, опытная, с крепкой рукой, умеющая натягивать и отпускать вожжи, но несколько обделенная даром беспристрастия, столь важным для педагога, тоже на свой лад открыла Павла Г. Его незаурядные математические способности, любознательность, глубокая серьезность (он был тихим зеленым островком посреди бурных и мутных вод нашего класса) вдруг были замечены и оценены статной, как будто в латы закованной, медноволосой и суровой классной руководительницей. И с присущим ей волевым напором она стала делать из него первого ученика. Было это, если не подводит память, в шестом классе У нас имелась штатная первая ученица Нина Д. – кладезь школьных добродетелей, образцово-показательная

по всем статьям, до некоторой даже роботообразности. Забегая вперед, скажу, что во взрослой жизни эти ее качества обернулись безукоризненным поведением на всех крутых виражах судьбы, громадным чутьем и безоглядной самоотверженностью в избранной ею врачебной профессии. Первая ученица с аккуратными, скучными косичками стала человеком высшего класса. Но тогда эта румяная девочка была до того правильна и примерна, что при ее появлении каждый живой организм скисал, как молоко в жару. И наша классная руководительница чутко поняла, что в седьмом классе, когда программа резко усложняется, понадобится иной герой для угнетения малых сил. Тут недостаточно старательности, аккуратности, умения опрятно содержать тетрадки, сидеть, как мумия, за партой, пока учитель объясняет или пишет на доске пример, соря мелом, мало зубрежного рвения – от энтих до энтих и ни в коем случае не забегая вперед, – мало привычки рано ложиться спать и вставать чуть свет (замечательным домашним режимом Нины Д. угнетали не только нас, но и наших родителей) – от лучшего ученика потребуются иные качества: живой ум, пытливость, увлеченность наукой, сила глубокого характера, Мария Владимировна, конечно, понимала, что Нина с ее хорошими способностями, прилежанием, ясной памятью, внутренней дисциплиной и отсутствием пагубных страстей не ударит в грязь лицом и в седьмом и во всех последующих классах, но правильно рассудила, что мужаящим подросткам нужен будет иной образец для подражания. Принадлежа к нетерпячей и решительной породе мичуринцев, она не стала ждать милостей от природы, а решила сама изготовить нам идола впрок.

Поскольку она вела у нас все главные предметы, на Павла посыпались, как из рога изобилия, высшие отметки не только по тем дисциплинам, где его превосходство не вызывало сомнений, но и по тем, где он успевал куда меньше. Он вдруг оказался отличным художником – рисовать вовсе не умел, дивным певцом – без слуха и – косолапый слабак – украшением физкультурного зала. Конечно, за всем этим чувствовалась твердая рука Марии Владимировны, чей авторитет в школе был неоспорим. Похвальные грамоты и премии каждую четверть отмечали выдающиеся успехи Павла.

Но был у него один изъян, крайне осложнявший задачу Марии Владимировны возвести его на школьный Олимп, – неправдоподобно уродливый почерк. Среди нас были настоящие каллиграфы: Нина Д., ее подруга Ира Б-на, Лида Ч., Володя М., остальные обладали вполне сносным почерком – сама же Мария Владимировна учила нас в первом классе выводить палочки и нолики, потом какие-то древние узоры и наконец буквы, – учила жестко и хорошо. Павел писал грамотно, но невообразимым почерком – рука не слушалась его, как он ни старался, казалось, это не человек писал, а ползала по бумаге испачкавшаяся в чернилах муха. Лист из школьной тетрадки Павла задал бы нелегкую задачу графологу. Я до сих пор помню не только кляксовую неопрятность его письмен, но и начертания отдельных букв. У его «я» была крошечная головенка, просто капелька чернил, а под ней непристойное разное, напоминающее о наскальной живописи в мужской уборной; его «щ» требовало громадного пространства, а хвостик буквы превращался в самостоятельное «у», сползающее в нижнюю строчку и производящее там беспорядок; случалось, буквы вклинивались одна в другую или уменьшались до микроскопических размеров, и разглядеть их можно было лишь с помощью лупы, а то вдруг вырастали в великанов. Почему рукописания такого тихого, сосредоточенного и собранного человека, каким уже в детстве был Павел, имели столь смятенный вид – ума не приложу.

Мария Владимировна старательно закрывала глаза на этот серьезнейший по школьным меркам недостаток и твердой рукой вела Павла к славе. Ребята, конечно, понимали, что дело нечисто, но снисходительно относились к педагогическим вольтам классной руководительницы. Павла любили и уважали за его подлинные достоинства, а его математическим гением гордились и восхищались. К тому же для нас Павел был удобнее Нины в качестве иконы. Он не пеленал тетрадки и учебники в белую бумагу, не заваливался в девять вечера и не вскакивал с рассветом, не обтирался холодной водой, тут он не мог служить образцом для подражания, а

решать математические задачи, как он, никто заставить не мог, для этого требовалась особая голова.

Надо отдать должное чистоте и отвлеченности Павла, он долго не замечал своего положения любимчика, баловня, первого ученика и отрады очей классной руководительницы. Рассеянный – не от захваченности внешними впечатлениями, а от углубленности в собственный мир, – всегда немного печальный, он жил, как жил, упиваясь дивным языком математики и не делая шага навстречу Марии Владимировне. Но она была настойчивым, точно знающим свою цель взрослым человеком, а он, при всей своей высокой отрешенности, все-таки мальчишкой, а не схимником, глухим к голосам земли. Он услышал наконец осанну, возглашаемую в его честь. И поначалу смутился, сжался, стал еще молчаливей и замкнутей. Но капля камень точит, а ведь он вовсе не был камнем, четырнадцатилетний подросток с мягкой душой, которую защищал от вторжений, чтобы целиком тратить на математику и больную, безмерно любимую мать. Яд проник к нему в кровь. Павел поверил в свою исключительность, избранность, в свое превосходство над окружающими, во все то, чем планомерно и упорно заражала его классная руководительница. Он стал другим: на уроках все время высовывался, чтобы первым ответить на вопрос или решить пример, на собраниях брал слово, и в тихом его голосе зазвучали противные наставительные нотки. Он даже занялся своим почерком, хотя и без успеха. А получая очередную награду, уже не потуплял виновато серебристого взгляда, а прямо и преданно смотрел на Марию Владимировну и весь учительский синклит, готовый отдать за них жизнь. Он словно очнулся после долгой дрёмы, но очнулся не в себя прежнего, а в какого-то другого, куда менее ценного человека.

Все это кончилось конфузом, спасшим ему душу. Мария Владимировна заболела, впервые на моей памяти, и не пришла на занятия. Урок вела новая молодая учительница, которую мы не знали и которая не знала нас. Чтобы сразу утвердить ужасом свой авторитет, учительница закатила внеочередную контрольную по русскому языку. Когда на другой день она раздавала проверенные работы, тетрадка Павла лежала в самом низу. Подняв ее двумя пальцами, новая учительница сказала: «А этому ученику даже «неуд» слишком много. Чья эта тетрадка? – И когда Павел подошел, брезгливо сморщилась. – Какая гадость! Как тебе не стыдно? Большой парень!» – И швырнула ему тетрадку.

Она, конечно, переборщила по молодости лет, захотела сразу «поставить себя» в классе, к тому же не ведала, на кого замахнулась неопытной и дерзновенной рукой. Но поведение Павла было еще ужаснее. Он вдруг забился, как балаганный Петрушка, которого для изображения панического ужаса дергают за все веревочки разом, так что руки, ноги и голова на тонкой шее мотаются в разные стороны, застучал кулачками по учительскому столу, разревелся и, в клочья порвав тетрадку, выбежал из класса.

Дня два он не появлялся в школе, а потом пришел такой же, как всегда, нет, такой, каким был раньше, когда не лез вперед, не поучал других и не смотрел с собачьей преданностью в глаза наставникам, а пребывал в своем тайном надежном мире, излучая оттуда, из своего укромья, серебристый свет. На что уж мы были шпаной, но ни один человек в классе ни словом, ни взглядом, ни усмешкой не напомнил Павлу о жалкой сцене, разыгравшейся при раздаче контрольных. Молодая учительница больше у нас не появлялась, и, пока не вернулась Мария Владимировна, уроки поочередно вели руководительницы параллельных классов.

Павел ушел в тень. Писать он стал еще хуже, размазывал в тетрадках такую грязь, что любо-дорого посмотреть, нелюбимые предметы вовсе забросил, являя полное равнодушие к плохим отметкам, и окончательно вознесся в чистый, хрустальный мир математических формул.

Мария Владимировна поняла, что он потерян для нее, и отступилась. Утешение, впрочем, не заставило себя ждать. Она нашла замену трудному Павлу в лице очень способного и «приятного во всех отношениях» Бамика Ф. На этот раз она не промахнулась. Даровитость

натуры сочеталась в этом рослом мальчике с уникальной механической памятью, веселым, а не нудным благонаравием и той душевной прозрачностью, которая бывает у людей, не захваченных одной всепоглощающей страстью. Типичный гуманитарий, очень начитанный и даже сам друживший с пером, Бамик посещал химический кружок, редактировал стенную газету, хорошо играл в теннис и волейбол, блестяще владел речью, его разносторонность исключала опасный перекося, интересы не переходили в роковую увлеченность, он был создан для роли школьного кумира. Бамику требовался лишь легкий толчок, чтобы раскрыться во всем блеске, и этот толчок состоялся. Бамик не обманул доверия Марии Владимировны и до окончаний школы оставался на недостижимой высоте. Лишь изредка что-то случалось с безукоризненным аппаратом его памяти, что приводило к провалам столь невероятным, что их старались поскорее забыть, как нечто непостижимое и враждебное человеческому сознанию: так, в десятом классе он вдруг не смог извлечь... квадратный корень. И тогда я догадался, что Бамик своим феноменально устроенным мозгом запоминает решения математических и физических задач, теоремы, формулы и записи химических реакций, – думать, соображать в области точных знаний он не может. А может, и здорово может – в литературе, истории, обществоведении, даже биологии; столь же преуспевал он в предметах, основанных на чистой памяти: географии, немецком языке. Блеск Бамика не потускнел с годами, он так и остался самым ярким среди нас, но об этом в своем месте...

Думается, на том уроке, когда Павел порвал свою тетрадку и разревелся перед всем классом, вернее, в дни, последовавшие за этим прискорбным событием, и укрепилась его душа для будущего, с тех пор он стал готов к тому, чтобы прикрыть собой от гибели другого человека. Молодая, неопытная учительница своим антипедагогическим поступком спасла его душу, которую уже начала растлевать наша многомудрая классная руководительница. Я совершенно уверен, что Павел в конечном счете все равно устоял бы против Марии Владимировны, вернулся бы к себе настоящему, но кто знает, чего бы это стоило, какой ценой оплачиваются в отрочестве подобные победы. А тут обошлось болезненной, без наркоза, но быстрой операцией, и он очнулся здоровым и стал тем, чего не сказала впрямую, но подразумевала бывшая девочка Сарра, – лучшим из нас...

3

И все же разве не была лучшей Женя Руднева?... А разве Ляля Румянцева уступала ей?... И да простят меня мертвые, что я оставляю их милые тени – ненадолго – и обращаюсь к миру живых, но почему не считать лучшим Яшу М., которого по старой памяти мы называем до сих пор Яшкой, несмотря на его научное звание и почтенную седину, – столько сохранилось в нем молодой доброты и веселости, отзывчивости, легкости и привязанности к нашему прошлому под сенью Чистопрудных лип? И когда на общем дне рождения он попросил слова, все сразу заулыбались, готовые принять то радостное добро, которое он всегда приносит с собой.

Как и положено, он прочел свои новые стихи – о шестидесятилетних мальчиках и девочках, и тут многие, не переставая улыбаться, смахнули украдкой слезу – такая глубокая нежность скрывалась под тонким покровом шутиливости. Любое доброе дело, если вносить в него излишнюю торжественность, серьезность на грани угрюмства, теряет свою живую, трепетную суть и начинает отдавать тленом. Эта опасность сопутствует каждому сборищу, когда оно не интимно и сводит людей не случайностью внезапных дружеских наитий, а общностью нынешней или прежней службы, какими-то датами, когда оно ритуально. Мы все дети своего времени, несем на себе его тавро, обязаны ему и многим хорошим и кое-чем дурным, даже вот наши школьные, естественные, как воздух, вода и трава, встречи не защищены от опасности уподобиться месткомовским балам. Можно забыть о цели встречи, сведя все к водочкам и закусочкам, а можно впасть в бездушную высокопарность – ведь наши уста натренированы в парадном пустозвонстве. Своим добрым и неопибающимся сердцем Яшка неизменно предугадывает угрозу либо усталой натужности, либо старческой сентиментальности в духе ветеранов, его чуткое ухо улавливает и тот мерзкий тонкий звон, какой издает графин, когда по нему стучат карандашом, призывая к вниманию, – последнее не следует понимать буквально. Он тут же берет игру на себя и озонирует воздух. Удивительно ловко он это делает. Я пытался уловить, как возникает та или иная тема, помогающая ему вернуть праздник в праздник, но мне это никогда не удавалось. Он, конечно, ведущий наших встреч, не тамада, не распорядитель с бантом на рукаве, а чуткое, угадливое сердце, которое всегда на страже. Вот и сегодня почему-то оказалось нужным, чтобы, отвечая на какой-то вопрос, он рассказал о своем зяте:

– Он чудный мужик, но, можете себе представить, старше меня! Когда он попробовал величать меня «папой», я ответил ему тем же, с чуть большим основанием. Мои сослуживцы прозвали его Долгожителем. И не забывают участливо спросить: «Ну как твой Долгожитель?» Но дочери с ним хорошо, а на остальное наплевать.

К исходу вечера, когда скорое расставание набросило тень печали на еще длящуюся, но уже ведающую о конце встречу, Яшка, чтобы подбодрить нас, прочел первомайское послание руководству своего института, щедро посыпанное аттической солью. «Лирику я посвящаю только нам, – пояснил Яшка, – всех остальных жалю сатирой. По-моему, вовсе не смертельной. Но недавно новый директор вызвал меня и спросил, что я думаю о выходе на пенсию. Я сказал, что работаю в институте тридцать один год, имею более ста научных трудов, в том числе шесть книг и пятнадцать брошюр, что моя лаборатория всегда была на лучшем счету, но при этом я нисколько не устал. «Но от вас устают другие, – промямлил он. – И вообще, я чувствую, что мы не сработаемся». – «Вы напрасно беспокоитесь, – сказал я. – Мне это говорили все ваши предшественники, а расставались мы друзьями. Идея о нашей несовместимости осеняла их регулярно после Первомай, Октябрьских праздников и Нового года». – «Как?! – вскричал он. – Значит, на Октябрь и на Новый год – опять?...» – «Опять, – подтвердил я грустно. – Такова традиция». Он был умный человек и рассмеялся: «Ну раз традиция!..»

Чего там дурака валять – мы уже старые люди. Но не внутри своего круга, в том и заключается одно из главных чудес нашей дружбы, что, старея как бы параллельно, мы не

замечаем следов, пятен, щербин времени друг на друге. Конечно, все крайние утверждения условны, – бывает, и поразишься, вдруг обнаружив плешь в седых поредевших кудрях златоглавого школьного херувима или превращение бывшей кошечки в тюленя, но обалдение это коротко, как вздрог. Андерсеновскому Каю попал в глаз осколок кривого зеркала, и все самое красивое на земле: юные лица, цветы, плоды, деревья – обернулось ему уродством. Когда мы вместе, божьи ангелы роняют из пухлых, с перетяжками ручек райское зеркало, и каждому безболезненно проникает в хрусталик крошечный его уломочек. Мы смотрим друг на друга и не видим ни морщин, ни одряблевшей кожи, ни погасших глаз, ни сутулости, вокруг не больные, усталые, наломанные войной и миром старцы, а юные пажи и прелестные фрейлины. Последний акт «Спящей красавицы». И когда Бамик Ф. атавистическим жестом берет немолодую руку Кати Г., своей школьной любви, руку, рывшую окопы на трудфронте, подсовывавшую горшки под раненых в эвакогоспитале, обожженную химикатами на производстве, прекрасную жесткую руку труженицы, у него под пальцами нежная лайковая кожа восемнадцатилетней красавицы, на которую он и дышать боялся. Такой она осталась для него навсегда. И для всех нас...

Но вот что удивительно, хотя иначе и быть не могло. Кому-то удалось разыскать и привести на общее рождение Шуру К., неизвестно по какой причине исчезнувшую с горизонта сразу по окончании школы, хотя она все это время жила в Москве и работала на ЗИЛе, – круглолицую смуглую Шуру, представшую по прошествии сорока двух лет симпатичной опрятной бабушкой. Наверное, она изменилась ничуть не больше всех остальных, но друг в друге мы вообще не замечаем перемен в силу их постепенности, а тут увидели сразу результат, и он ошеломил нас. А бедная Шура, потрясенная видом стариков и старух, помнивших ей безусыми юнцами и свежими девушками, просто не могла поверить, что это прежние однокашники, и церемонно обращалась ко всем на «вы».

Потрясение было велико, и на помощь поспешил Яшка М.

– Не падать духом, все это уже было в литературе. Вспомните «Портрет Дориана Грея». Мы с Шурой открыли друг другу свой истинный облик. Но дальше пойдет не по Оскару Уайльду. Увидите, к концу вечера Шура покажется нам шаловливой красоткой, а мы ей – маленькими лебедями.

Так оно примерно и случилось... Да, мы все-таки старые люди, и порой нам делается и грустно, и больно, и даже страшно, и безмерно, пронзительно печально, и как хорошо, что под рукой есть Яшка М!..

– Яшка – самый добрый человек на свете, – сказала мне Таня Л., сама исполненная редкой доброты. – Неотложная душевная помощь. Когда кому плохо, так сразу – к Яшке.

– Вот не знал... – начал я и осекся, сразу поймав себя на вранье, – уж мне ли не знать!

Это было много лет назад. Со мной случилась беда, испытать которую доводится, наверное, хоть раз в жизни каждому человеку, – нет, не меня бросили, от этого еще можно защититься, найти противоядие, а я сам оставил женщину, которую любил, и тут уж ничего не поделаешь, ничем не защитишься, как не поднять самого себя за волосы. Такое – бесповоротно, иначе бы не случилось вообще. Я не знал, как проживу остальную жизнь, но еще труднее было прожить наступающую ночь, первую ночь одиночества. И рука моя сама набрала телефон Яшки. Он не стал спрашивать: с чего, мол, да почему, как поступил бы на его месте каждый нормальный человек, не стал лопотать: давай, старик, лучше завтра, на работу рано вставать да и водку сейчас не достанешь, он просто спросил, где мы встретимся. «На улице Горького. У ВТО». Когда мы встретились там, ресторан был уже закрыт и толстый злой швейцар лишь выпускал запозднившихся посетителей. Да простит мне давний грех Сергей Федорович Бондарчук – я выдал себя за него. В те годы густые седеющие волосы придавали нам некоторое сходство. Во всяком случае, подвыпивший швейцар сразу поверил и широким жестом распахнул дверь. Знакомая официантка, уже расставшаяся с фартуком и крахмальной наколкой, выдала из заначки три бутылки водки и лимон.

Всю ночь мы сидели с Яшкой в моей кухне, пили из чашек довольно холодную водку, запивая тепловатой, припахивающей хлоркой водой из-под крана и высасывая горькую кислоту из долек лимона, – в моем московском жилье, где я почти не бываю, холодильник пожизненно отключен. Яшка ни о чем не спросил меня и терпеливо слушал ту околесицу, которую я нес, чтобы заговорить «зубную боль в сердце». Говорил же я о чем угодно, только не о подлинной причине, побудившей меня сломать ему ночь и весь следующий день. Конечно, он и сам обо всем догадался, по-настоящему добрая душа всегда проникательна к чужой беде, но ничем себя не выдал. Утром, когда я без сил и сознания рухнул на тахту, Яшка прикрыл меня пледом и поехал на работу.

Он замечательно держит выпивку, только – еще добрее улыбка, еще теплее взгляд, лишь в последнее время у него стало краснеть лицо. Но однажды его скосило – на поминках по нашему общему другу Юре П. В альбоме под именем Юры – чистая страница, его вдова, тоже наша соученица, не выбрала времени написать ни о нем, ни о себе. А может, ей трудно?... Яшка выпил тогда не больше обычного, но тут развалился в куски: рыдал, бился лбом о столешницу, падал. Он впервые хоронил друга, и душа в нем рухнула. Он не мог принять этой смерти. И другой наш друг, Боря Ф., маленький, слабогрудый, вынес Яшку, как раненого с поля боя, на спине и протащил через всю Москву – таксисты отказывались их везти – до своего дома, где уложил в постель и, сам давясь слезами, провозился с ним всю ночь. То был единственный случай, когда «неотложной помощи» понадобилась помощь со стороны.

4

Заговорив о Юре П., я не могу расстаться с ним так просто. Ему выдалась нелегкая, даже горестная жизнь. В школе у него все шло отменно, он был одной из самых популярных фигур среди старшеклассников, отнюдь не бедных яркими индивидуальностями. Худой, длинный, весь какой-то шарнирный, с копной летучих светлых волос, он лучше, всех в школе бегал на коньках и лыжах, прыгал с трамплина, частенько ломая свои косточки, которым недоставало фосфора. Он искуснее всех танцевал и, не зная нот, извлекал из рояля волнующие мелодии модных тогда блюзов, танго и фокстротов. Но мало этого: обладая редкой координацией движений и чувством равновесия, он творил чудеса на велосипедном круге Чистых прудов и на маленьком катке «Динамо», где сейчас теннисные корты. На велосипеде он делал цирковые номера: выписывал виражи, стоя на багажнике и не держась за руль, мог переместиться на ходу с седла на руль и ехать задом, мог поднять велосипед на дыбы и катиться на заднем колесе. А динамовский лед он испещрял узорами сложнейших фигур на обычных хоккейных коньках. И наконец, он лучше всех ребят разбирался в технике, любой мотор, механизм был для него открытой книгой. Добавьте к этому общительность, легкость на подъем, всегда хорошее настроение, полное отсутствие тщеславия – и портрет Юры П. будет готов.

Мы еще кончали школу, когда осиротела наша соученица Нина В., в которую давно и безнадежно был влюблен Юра. Едва развязавшись с выпускными экзаменами, он поспешил сделать ей предложение. Его родители были решительно против столь раннего брака, к тому же мечтали об иной жене для своего сына. Юра тут же порвал с ними и ушел из дома. Нина оценила его рыцарственный поступок – они стали мужем и женой. Трудно начиналась совместная жизнь молодых...

Юра поступил в технический вуз, Нина – в физкультурный. Учились, бедовали, духом не падали, друзья помнили о них. Когда Таня А, упоминавшаяся мною, вышла замуж, у них появился второй дом, всегда готовый пригреть, накормить, напоить. Юра не брезговал никакой работой: ставил «жучки» в квартирах, что-то чинил, что-то выводил из строя – по желанию заказчика, конструировал электроплитки и обогреватели, на которые был великий спрос в дни войны, наконец, сделал величайшую халтуру своих черных дней: осветил Елоховский собор, создав множество неповторимых световых эффектов и заработав кучу денег. Эта история имела последствия, поскольку беспечный Юра всюду таскал с собой священника Елоховского собора, включая и те партийные дома, которым интимная связь с видным церковником не могла послужить к украшению. Кое-кому нагорело... Я хорошо помню этого шустрого служителя культа: он приходил в штатском, но с волосами до плеч и прежде всего закреплял каштановую гриву женскими заколками на темени, после чего просил поставить «что-нибудь быстрое». Танцор он был неутомимый, хлопнет стопку, понюхает черную корочку – и снова в пляс...

Нина и Юра окончательно вышли из нужды, когда начали работать. Нина – в школе преподавателем физкультуры, Юра – на авиационном заводе. Он быстро завоевал репутацию выдающегося специалиста. У них появилась машина, затем и хорошая квартира, не по дням, а по часам росли два мощных, кровь с молоком, сына. Юра так разнежился, что позволил себе «хобби» – аквариум с полным кислородным обменом – до сих пор не понимаю, что это такое. Но, к сожалению, «хобби» Нины оказалось не столь безобидно, как увлечение золотыми вуалехвостками и бархатисто-черными, с просеребрю телескопами. Ей все время хотелось блистать и покорять. Мне противно становиться в позу моралиста, да и что мы знаем о чужой душевной жизни?! И разве не чарует из века в век миллионы людей бессмертный образ, созданный в странной грезе скучным аббатом Прево, – пленительная Манон Леско? Насколько суше, холоднее и прозаичнее была бы жизнь без этого пронзительно женственного, добродушного и

безвинного в своем неведении греха существа, которому господь бог не заложил в маленькое, тугое, ровно бьющееся сердце ни крупинки постоянства! Она просто не знала, что это такое, милая, беспечная Манон, она искренне любила преданного де Грие и, желая, чтобы ему тоже было хорошо, посылала в утешение своих подруг. Но де Грие родился с роковой печатью – он однолюб, он может любить лишь свою Манон, все остальные красавицы мира для него не существуют. Наш друг не уступал в любви и верности кавалеру де Грие, словно взвалив на себя непосильный труд доказать жизненность образа, созданного в XVIII веке, в наше прозаическое, технарское время, к тому же весьма покладистое в вопросах нравственности.

Юра не жаловался, в компании по-прежнему был весел, лихо барабанил по клавишам, глушил себя работой и тем, чем обычно глушат боль русские люди. Он служил под началом некогда знаменитой летчицы; она помогла раскрыться его инженерному дарованию, терпела его прогулы и срывы и упорно боролась за него против него же. С ее поддержкой он много успел, получил высшие награды... Яшка М. сказал однажды: «Наш Юрка или пьет, или получает ордена». Время врачует далеко не все раны. Юра терял себя... Лишь однажды он собрался нацельно и пришел на встречу, посвященную пятидесятилетию нашей дружбы, достойно выдержал долгое застолье, хорошо говорил; он увидел, как все его любят, и ответил нежностью, и у нас мелькнуло, что Юрка вернулся, навсегда вернулся, но это оказалось прощанием. Через две недели его не стало.

Так, может быть, Юра был лучшим из нас? Уж во всяком случае, самым верным. Но существует и другая верность – собственному образу. Оставаться в нем всю жизнь – тоже мужество. И нет у меня слова упрека нашей старой подруге, которая до сих пор, всем годам назло, полна очарования. Если Юра все прощал Нине и до конца оставался с ней, значит, она была для него лучшей из женщин, и мы не вправе думать иначе, чтобы не оскорбить дорогой памяти...

5

Как трудно все же решить, кто из нас лучший. Стоило ли листнуть альбом – и сразу мысль: а разве не лучше всех Мусик Т.? Он – Михаил, но со школьной скамьи носит это девчоночье имя и не хочет иного. Ведь альбом оформлял он и бестрепетной рукой вывел: Мусик. Прежде заводилой наших встреч и главной труженицей далеко не простых, да что там – крайне обременительных мероприятий была Таня Л., – она с дней войны собирала нас, как Иван Калита русскую землю, но сейчас, замотанная внуками и всей разросшейся семьей, она выпустила бразды правления, которые подхватили надежные руки бывшей преподавательницы французского Туси П. Ей помогает энергичная Валя М. – звукооператор на пенсии, а общее идейное руководство осуществляет Галя Б., всю жизнь отдавшая партийной работе. Выйдя на пенсию, но не обретя покоя, Галя весь неизрасходованный общественный запал сосредоточила на школьных друзьях, что дарят нас чувством прочного идейного комфорта. С каждым годом организовать встречу становится все сложнее, уж слишком все заморочены, облеплены потомством, как пни опятами, утомлены собственными недугами, инфарктами мужей или затянувшейся молодостью жен, да и тяжела на подъем старость при всех благих намерениях, и на помощь слабому полу пришел начальник цеха контрольно-измерительных приборов химического завода, проще говоря – Мусик.

У Мусика есть одно необыкновенное свойство: впечатление такое, будто вот уже много лет он ничем, кроме школьных дел, не занимается. Если он не хлопочет по организации очередной встречи, то возится с нашими фотографиями: перепечатывает их, размножает, иные снимки увеличивает, в День Победы рассылает письма родителям и близким погибших фронтовиков, заполняет альбомы – и тот, о котором я пишу, и еще один – жанрового, что ли, характера, разыскивает пропавших – у нас есть такие, о чьей судьбе до сих пор ничего не известно, или придумывает что-нибудь новенькое во славу старых Чистых прудов, где уже давно не живет. Помню, как я удивился, когда в Доме ученых он представил меня довольно молодой и очень интересной даме, назвав ее женой. Тут только до меня дошло, что Мусик – отнюдь не приложение к школьному детству, что у него есть своя, отдельная душевная и домашняя жизнь, семья, работа. Да и самого Мусика я увидел через эту привлекательную женщину будто впервые. Он замечательно сохранился – самый моложавый из нас, с яркими смешливыми глазами, и приятный теноровый голос его по-юному свеж и звонок. Он выглядит моложе двух наших «вечных юношей» – Лени К. и Бамика Ф., докторов наук, почтенных профессоров без седины и морщинки, стройных и легких, с мальчишеской повадкой. Молодец Мусик, такую жену смело выхватил из мира, вовсе постороннего Чистым прудам, а мне подсознательно казалось, что у него и быть не может своей, отдельной, из плоти и крови жены, лишь некая коллективно-духовная – наши бывшие девочки от А до Я.

Есть еще одно обстоятельство, что прочно держит Мусика в прежнем образе. Он не Герой Советского Союза, как Женя Руднева, не Герой Социалистического Труда, как Коля Р., не лауреат Государственной премии, как Мила Ф. не профессор, как Бамик, Леня или Игорь Л., не без пяти минут генерал, как Слава П., не кандидат наук, как Гриша Т., Боря Ф., Аня С, Лида Э., Оля П., Витя К., Яшка М. Он даже не может, подобно большинству ребят, со скромной гордостью написать о себе, что за долгие годы вырос от... и до... Вскоре по окончании института, еще во время войны, совсем молодым, неопытным инженером, он был назначен начальником цеха. Людей не хватало, и ответственный пост доверили вчерашнему выпускнику. Наш скромный Мусик не оплошал, и, когда война кончилась и вернулись на завод матерые кадровики, его оставили во главе выросшего цеха. А потом прошло еще тридцать пять лет, и вопреки общепринятой драматургии Мусик не стал ни главным инженером, ни директором завода, не говоря уже о более высоких постах. Он остался начальником цеха. Правда, цех стал совсем

другим: и по площадям, и по кадровому составу, и по техническому оборудованию, по объему, ассортименту и качеству выпускаемой продукции, по тем производственным задачам, которые сейчас решает. Вместе с цехом растет и наш друг, не отстает, не буксует, идет вровень, чуть впереди, как и положено руководителю, – из всех служебных карьер такая, на мой взгляд, заслуживает наибольшего уважения.

Мусик никогда не говорит о своих производственных делах и вообще о той жизни, которая не связана со школой, он не любит смесей. Но однажды мне удалось поймать его на коротенький, быстро им прекращенный разговор.

– Тебе сейчас, наверное, много легче работать? – спросил я.

– Труднее, – улыбнулся Мусик.

– Но у тебя же огромный опыт.

– Опыт не куча; навалил, взобрался и сиди, почесывая брюхо. Это штука динамичная, не выносящая застоя. Но дело в другом – проще было с людьми.

– А что – люди стали хуже?

– Нет. Была война, и каждый вкалывал на всю катушку. Что ни скажешь – тут же сделают. Потом восстановление – та же картина. А теперь – черта с два, ты докажи, растолкуй, убеди... Больно умными все стали...

– Расчетливыми, хочешь сказать?

– И это есть... Но вообще-то ребята хорошие, только другие. По-другому хорошие, по-другому плохие. Старые мерки не годятся. Но это интересно. «Покоя нет»...

Вот оно, главное, – покоя нет. И в этом причина душевной свежести нашего товарища, он не закоснел, не остановился, не подался к обочине.

– Ну а награды у тебя есть?

– Как же – две медали 800-летия Москвы!.. – Он расхохотался и пошел петь дуэтом с профессором Леней «В любви ведь надо открытым быть и честным...» – их коронный номер.

6

...Листаю альбом. Мои дорогие друзья в подавляющем большинстве не корчат из себя словесников: их автобиографические справки предельно лапидарны. Листочки со скупыми признаниями наклеены рядом с фотокарточками – обычно не последних лет (на это отважилась лишь Ира Б-ва, затмившая в десятом классе нашу профессиональную красавицу Нину В.), но и не слишком уж давних У В. Розанова есть рассуждение, едва ли известное моим друзьям, что наружность человека в определенную пору жизни оказывается как бы в фокусе. Рассматривая фотографии известных писателей, В. Розанов говорил: «Это еще не Тургенев», «Это еще не Толстой» или «Это уже не Достоевский», «Это уже не Чехов». В фокусе происходит полное слияние внешней и внутренней сути человека, и тогда можно сказать: «Вот настоящий Тургенев... Толстой... Достоевский... Чехов...» У разных людей такое вот «наведение на фокус» происходит в разную пору жизни, чаще всего не слишком рано, но и не слишком поздно. Хотя возможны исключения, и кто-то уже в молодости выходит из фокуса, а кто-то попадает в фокус на излете дней. Наверное, мои друзья бессознательно руководствовались тем же принципом, лишь немногие, не ведая своего «фокуса» или не достигнув его, дали по две фотографии: школьную и сегодняшнюю – мол, разбирайтесь сами, где я больше похож на себя. Я помню наших соучениц в юном расцвете, и все же они правы, что выбрали другие карточки, отражающие их завершенную человеческую суть. То же относится и к сильному полу. Исключение составляют лишь те, кого война оставила навеки молодыми...

Автобиографии достойны того, чтобы быть приложенными к анкетам для поездки, скажем, на Золотые Пески в Болгарию – лишь самое необходимое, ничего лишнего, никаких эмоций, кроме дежурного (и при этом искреннего) выражения благодарности школе и преданности друзьям Но в самом лаконизме этих справок – честность и душевное целомудрие, стыдящееся громких слов. Ведь это написано для своих, а свои все знают, все понимают и, где надо, сами заполняют пробелы в скупых строках.

Именно бесхитростность этих справок делает их документами времени. В них отчетливо проступает то общее, что характерно для прожитых нами нелегких лет. В этом, не боюсь сказать, типичность, историчность скромного школьного альбома.

Наш выпуск был последним, когда мальчишки шли в институты, а не на действительную военную службу. Начиная с 1939 года у парней была только одна дорога: из школьных дверей на призывной пункт. Они зрели для первой жатвы самой страшной и беспощадной из всех войн. И все же многие из нас были на войне, иные не вернулись назад. Наши ребята попадали на фронт либо добровольно, либо по ускоренному выпуску медвузов. О некоторых я уже говорил. Погиб на фронте любимец школы, медврач Жорж Р., вернулась в звании подполковника медицинской службы Женя М., не вернулись рядовые Павлик С., Яша Ч., Коля Ф., Боря С., летчик-лейтенант Саша С.; пришел, освободив Прагу, Будапешт и Вену, комвзвода Витя К., пришли, исполнив воинский долг, Володя А., Гриша Т., Ваня К., Гриша Г., Юра Н. А у девушек были трудфронт, госпитали, строительство оборонительных сооружений, рытье противотанковых рвов. «Работала и училась», «Работала и училась»... – это прочтешь всюду, где о военных годах. Просмотрите толстый альбом с начала до конца, вы не найдете ни одного уклонившегося, ни одного пытавшегося обмануть судьбу, скользнуть боковой тропкой. Зато найдете немало таких, кто мог быть среди нас сегодня, но пошел на смерть...

Коля Ф. был студентом-автодорожником третьего курса, когда началась война. Он сразу рванул на фронт, ему твердо сказали: доучивайся, на твой век войны хватит. Но его отец был арестован по ложному навету, и комсомольское сердце приказывало Коле кровью смыть отцовскую вину, в которую он сам не верил. Когда студентов послали на рытье окопов под Дорогобуж, он сумел уйти на фронт. Зимой 1942 года Коля сражался под Ленинградом, летом

получил партийный билет. Каким же он был солдатом, если его, при столь печальной судьбе отца, приняли в партию! В ту же пору в рядах белорусских партизан сражалась его мать Мария Семеновна Коваленко. Мать вернулась домой, сын сложил голову под Мясным бором. Колин отец посмертно реабилитирован.

Коля Ф. был большой, красивый и застенчивый. Он словно стеснялся, что занимает так много места в пространстве, сутулился, сжимался, силясь умалиться. Потом я узнал, что не одна пара девичьих глаз оплакала его преждевременный уход.

Страница, предоставленная Саше С, кажется пустынной: две фотокарточки и справка – больше ничего. На маленькой карточке Саша – школьник восьмого или девятого класса. Фото явно официальное: строго анфас, под неизменной лыжной курточкой – нашей прозодеждой, нашим спортивным костюмом и нашим смокингом – рубашка-ковбойка и галстук – верх франтовства. Волосы разделены пробором, одна прядь кокетливо сброшена на лоб. Кому предназначалась фотокарточка – неведомо. Она не передает главного в Саше – его расцветки, он был немислимо рыж и конопат. В школе блистал на волейбольной площадке: плассированная подача, необычайно точный, изящный пас, а гасил, как гвозди вбивал. Пошел Саша в авиацию. С начала войны – на фронте, штурманом на бомбардировщике. Вот он на другой фотографии в военной форме: лицо подсушилось, построжело, веснушки сошли, добротная командирская шинель, а на голове – буденовка со звездой, делающая Сашу похожим не на летчика Отечественной войны, а на конника гражданской. Что ж, помня прекрасные движения его веснушчатых рук на волейбольной площадке, легко вообразить, как ловко действовал бы саблей конник Степанов. Но у него была другая воинская специальность.

Министерство обороны СССР

главное управление кадров

103160, г. Москва, К-160

ч 173141117356

22 мая 1978 г

Тов. СТЕПАНОВОЙ Т. П.

125057, г. Москва, А-57, Ленинградский проспект, дом 77/2, кв 500

На Ваше письмо, адресованное в Центральный архив Министерства обороны СССР, сообщаю, что штурман экипажа 854 бомбардировочного авиационного полка лейтенант СТЕПАНОВ Александр Пантелеевич пропал без вести 5 июля 1943 года. Другими сведениями Главное управление кадров не располагает.

Начальник отдела ВОЙТЕНКО

Обратите внимание на дату ответа – 1978 год. Прошло тридцать семь лет с того дня, когда штурман Степанов не вернулся на свою базу, а его все ищут. Естественно подумать, что ищет мать, но ее уже нет на свете. «Тов. Степанова Т. П.», которой адресовано письмо, – наша подруга Туся, по мужу Степанова. Справки дают только родным, и Тусе ее новая фамилия помогает искать Сашу. Даже родная сестра Саши перестала ждать и надеяться, а Туся будет искать нашего рыжего друга, пока в ней самой бьется сердце. Она дала для альбома эту официальную справку, потому что не хочет, чтобы о Саше писали как о том, кого уже не надо искать...

А страница, отведенная Борису С., до сих пор пуста. И я догадываюсь, почему так случилось. Рассказать о нем очень трудно. Он учился в нашей школе с первого по девятый класс, затем перешел в артиллерийскую спецшколу. Он жил в том же доме, где жили Павел Г. и Сарра М., где жило еще много наших ребят, в большом доме бывших политкаторжан, написать о нем должен был бы кто-то из его соседей. Став артиллерийским учеником, Борис изредка захаживал в свою старую школу, скромно гордясь щеголеватой военной формой, но связи наши

ослабли, другое дело – ребята с одного двора, с ними он оставался по-прежнему близок. Но вот поэтому-то им особенно тяжело писать о нем, о горестной судьбе смелого и строгого юноши, в котором страна потеряла крупного военачальника, потеряла из-за мешка картошки.

Борис был прирожденным военным, командиром, он выбрал путь не просто по склонности, а по страсти, по всей душевной организации. Он мечтал о подвигах, о славе и начал готовиться к бою с четвертого класса. Он закалял свое тело: круглый год, в любую погоду ходил в рубашке из туалъденора – джинсовой ткани нашего детства, не признавая ни пальто, ни даже лыжной курточки. Он тренировал себя походами – пешком, на лыжах, на велосипеде, дальними, трудными маршами сквозь осенний дождь и зимнюю выжную стужу. Спал на жестком, обливался ледяной водой, мог сутками не есть и не пить, читал книги только о войне и, крепкий, как кленовый свиль, был добр и великодушен, никого пальцем не тронул, потому что обладал душой воина, а не задиры-драчуна.

Уже в дни войны, накануне получения первого командирского звания, ночью во время дежурства Бориса по части со склада украли мешок картошки. Суров закон военного времени. Борис был судим и осужден с заменой тюремного срока штрафным батальоном. Свой проступок он должен был искупить кровью. Он искупил его смертью. Погиб Борис в первом же бою. На его воинской чести нет пятна Но разве это утешение?

Им могло бы гордиться Отечество, но гордимся лишь мы, его школьные друзья, ибо знаем, на что он был способен. И смертно жалеем, и ком в горле мешает вырваться словам о нем. Но они будут, эти слова...

7

Меня властно манят ушедшие, хотя их, по счастью, куда меньше тех, кто продолжает дело жизни. Наверное, это правильно и справедливо, «ведь мертвые уже не мертвые, когда живые благоговейно воскрешают их образ». И жаль, что у меня так мало сведений, чтобы достойно воссоздать образ погибших на войне. Я и о живых знаю далеко не все, но не унижу ни их, ни себя «писательскими» расспросами о том, что мне осталось скрытым в их душах и жизненных обстоятельствах. Все это должно прийти ко мне из прошлого и настоящего, из воздуха наших встреч, из беглых слов, улыбок, всплесков доверительности, морщин, уж и не знаю – из чего еще узнаешь так много о близких людях, не подвергая их ни следовательскому, ни журналистскому нажиму; из всего движения жизни приходит по крупицам такое знание и складывается либо в заверченный, либо в приблизительный образ. Пусть лучше останутся пробелы в этих записях, но пополнять их искусственно я не стану.

Пока что я просто перелистываю альбом, читаю скупые строчки, вглядываюсь в лица тех, кто только что покинул мой дом, кто уехал на большом автобусе, раздобытом, конечно, Мусиком, всесильным, когда дело касается дружбы. Достать автобус в предолимпийские дни оказалось непосильным для наших Героев, лауреатов, профессоров, это сделал в два счета скромный начальник цеха.

Они уехали, оставив почти все вино невыпитым, – нам не нужно стимуляторов, когда мы вместе, и, хотя среди нас имеются любители заздравного кубка, даже им хочется хмелеть не от помоев алкоголя, а «от слез, от песен, от любви». Остались цветы, легкий беспорядок, который хочется сохранить как последнюю память, помада на краешке чашек, рассыпанные по дивану пластинки с мелодиями тридцатых годов, под которые мы когда-то учились танцевать, удивительно неуклюжие и косолапые в отличие от нынешних гонцов, рождающихся с твистом и шейком в крови, запах скромных духов и какой-то печальный воздух, и печальный, уже ненужный, по всему дому свет, и этот альбом в красном коленкоровом переплете.

Краткие записи помогают уловить то общее в нашей участи, о чем я уже говорил и что роднит выпускников 1938 года Чистопрудной школы с выпускниками всех других школ страны, со всем поколением, делает их судьбу частицей судьбы народной. Но индивидуальное, создающее неповторимость лица, куда труднее вычитать в застенчиво-скупых строчках, большей частью просто невозможно, но когда что-то знаешь, то, ухватившись за кончик нитки, можно распутать целый клубок.

Для меня полной неожиданностью оказалось признание Иры М.: «К сожалению, надо сказать, что в детстве у меня дома, в семье было много неблагополучного...» До чего же гордо-скрытная натура была у стройной, сдержанно-приветливой, легко и ярко красневшей девушки, если она не позволила никому заглянуть себе за плечи! Ира не рвалась к школьной премудрости, но из самолюбия заставляла себя хорошо учиться. Теперь я понимаю, чего это ей стоило. Наверное, оттого в школьных стенах в ней чувствовалась некоторая напряженность, исчезающая напрочь на Чистопрудном катке. Тут она мгновенно преображалась. У нас многие девочки отлично бегали на коньках, но куда им до Иры! У нее был шаг, постав и дыхание прирожденного скорохода. Она стелилась по льду, с горящими глазами отмахивала круг за кругом машистым шагом красивых сильных ног, глубоко и ровно дыша высокой грудью. Отваливалась с души вся тяжесть, жизнь искрилась и пела, как облитый электрическим светом лед под остриями ее коньков.

В свободу, открывшуюся за дверями школы, она вкатилась, будто с мощного разбега по Чистопрудному льду: в 1938 году поступила в педагогический институт, в 1939-м вышла замуж, в 1940-м родила сына. Что ни год, то радость. А дальше война – и все пошло вкривь и вкось. Эвакуация оборвала учебу, муж вернулся с фронта контуженый, с осколком в легких.

Начались годы мучительной борьбы за жизнь, здоровье и будущее мужа. О себе она напрочь забыла, но мужа спасла. Он выздоровел, окреп, получил гражданское образование, начал работать и быстро пошел в гору. Пора было Ире и собой заняться, но родилась дочь, и надежды на продолжение учебы в институте вновь пришлось отложить. Все же ей повезло больше, чем Джуду-незаметному, до могилы мечтавшему о высшем образовании: через двадцать лет после окончания школы. Ира получила институтский диплом. Начала жадно работать: преподавала, вела аспирантов, переводила техническую литературу. Ну и, конечно, воспитывала детей. Вновь ощутила она под ногами забытую радость скользящей, несущей вперед поверхности. И тут ей нанес удар человек, для которого она стольким пожертвовала. Он знал ее терпеливую доброту, самоотверженность, преданность семье и думал, что ему все сойдет с рук. Он забыл, что жена его была еще и гордым человеком. Ира указала ему на дверь. Осталась работа, остались дети, оба получили высшее образование. Теперь сын – начальник отдела в научно-исследовательском институте, дочь – старший инженер. И остались у Иры мы. Вот что она пишет:

«Наши школьные встречи приносят мне много радости, дают силу, уверенность в себе, в делах, в жизни, хотя помощи я ни от кого не просила. Жизнь сложилась трудная, но сознание, что рядом есть школьные друзья, всегда поддерживает, внутренне собирает».

Дорогие слова! И как прекрасно, что, хоть в трещинах и буграх был лед, не сбился твердый, машистый шаг чистопрудной конькобежки!..

8

Еще труднее судьба выпала Лиде Ч. Она даже не смогла приехать на нашу встречу, но никто не обмолвился в ее адрес и словом упрека. И один из первых тостов мы подняли за ее здоровье – худенькой, хрупкой, с прозрачными, исколотыми иглой пальцами великанши духа.

Лишь однажды кроткая, бережная к друзьям Лида повысила голос. «Не смейте меня жалеть!» – прикрикнула она на Таню Л, перебравшую в добрых чувствах. Пусть лучше Лида сама скажет о себе:

«Я, Аида Ч., родилась в 1919 году, 3 октября. После окончания школы № 311 в 1938 году поступила в инженерно-экономический институт. Проучилась там два курса. По семейным обстоятельствам вынуждена была его оставить. Работала в Министерстве строительных материалов инспектором военного отдела до 1946 года, а затем ушла с работы, так как заболел муж.

У меня сын и двое внуков. Одному 7 лет, а другому – 8 месяцев. Муж тяжело болен и требует повседневного ухода за собой.

Министерство мелиорации обещало нам предоставить отдельную квартиру в Марьино, так как мы живем в коммунальной квартире.

Я всегда с вами, мои дорогие друзья, и хотя у меня жизнь сложилась не так хорошо, как у вас, но я стараюсь делать все так же полно, как и вы, – воспитала сына, сейчас занимаюсь воспитанием внуков.

В этом я нахожу свою цель и любовь к жизни».

Есть ли весы, способные измерить тот труд и то терпение, те жертвы и те замороженные в груди слезы, тот страх и надежды – словом, всю ту жертвенную самоотдачу бессрочной вахты, которую несет Лида возле любимого беспомощного человека, своего мужа, отца ее ребенка? Я не жалею тебя, Лида, разве можно жалеть человека, способного на такое! Скорее уж мне надо жалеть себя самого и всех тех, кому никогда не подняться до твоей высоты.

Болезнь дорого даже там, где врачебная помощь бесплатна: о том, как жила семья на пенсию парализованного человека, могут рассказать Лидины исколотые пальцы, Лидины бессонные ночи. Но настал день, когда отступились лечащие врачи, когда у самых близких опустились руки. И вот тогда рядом с Лидой оказался тот единственный врач, который мог поспорить со смертью, потому что вооружен был не только врачебной наукой, а тем, что больше знаний, – ее школьная подруга, бывшая первая ученица, правильная девочка со скучными косичками, короче – Нина Д. С тем же спокойно-сосредоточенным видом, с каким прежде готовила домашние задания или писала контрольную, она занялась спасением едва тлевшей жизни. И справилась с этим уроком столь же безукоризненно, как и всегда.

Крайние утверждения никогда не бывают истинными. И цельная, уравновешенная, крепкая Нинина натура однажды спасовала перед стихийной силой жизни. Такой вот стихией вторгся в ее размеренное, опрятное бытие неожиданно-негаданно для всех окружающих, а более всего для самого себя, лихой малый, наш соученик, есенинская душа Ваня К. Он невелик ростом – особенно рядом с Ниной – да и тот добрал уже после школы, сильно лысоват, а какой смоляной зачес вскипал над его лбом, когда он носился по футбольному полю, один из лучших, а главное, неистовых, азартных игроков нашей школьной команды!

Он был таким во всем: если уж чем увлечется, то всегда через край. Когда-то кожаный мяч прикончил его рвение к наукам, но, в свою очередь, был побежден шашками – Ваня стал мастером спорта, чемпионом Москвы; затем, будто спохватившись, что не спортом единым жив человек, в темпе окончил юридический институт и помешался на стихах; не знаю, пишет ли он сам, но помнит наизусть всю русскую поэзию. Кумир же его – Есенин.

Смелая, неординарная жизнь Вани (он и отвоевал горячо – с контузией и ранениями) исполнена крутых поворотов, метаний и случайностей. Реки, выходя из берегов, затопляют тихие долины. Ванин безудержный разлив достиг Мининых ног, забурился и на мгновение сбился с твердой почвы.

Продлись их совместная жизнь дольше, не исключено, что текущая Ванина суть обрела бы четкую форму. Но поток, прорвав плотину, устремился дальше. Отхлынувшие воды оставили на влажном песке большое тельце ребенка, в котором притаилась испуганная душа, – Ванину дочку от первого брака. Движением спасителя Нина наклонилась и подняла забытое человеческое существо, просто и спокойно, как всегда, взяв на себя ответственность. Она вылечила и воспитала Ванину дочку, оплатившую ей не просто благодарностью, а тем, что стала хорошим и счастливым человеком.

Такова наша Нина – первая во всем: в учебе, профессии, доброте, преданности, дружбе. И еще одна маленькая подробность. У Нины появилась – уже давно – однофамилица из наших соучениц. Та, что металась рядом с ней в тифозном бреду на госпитальной койке, в лагере для немецких военнопленных, Ира Б-на. Вот несколько строк, завершающих Ирину «справку» в альбоме:

«Первый раз я вышла замуж после войны в 1945 году. Замужество было очень неудачным. Через несколько лет я вышла вторично за брата Нины Д., тем самым окончательно породнившись с ней».

В последних словах звучит нотка гордости. Так мог бы написать один из светских героев Марселя Пруста, породнившись с домом Германтов, первым в Сен-Жерменском предместье. Гордость Иры основательнее, ибо перед аристократизмом духа ничто гербы и поколения родовитых предков...

Неудивительно, что при таких отношениях наши старые «ребята» родятся уже и через младшее поколение. Дочь Вали К. вышла замуж за племянника Лиды Ч. и уехала с ним в Ригу, откуда он родом. И недавно туда же последовала сама Валя, и опустело ее место за нашим дружеским столом. Неисповедимы промыслы божьи, в данном случае скорее антихристовы. Рослая, прекрасно сложенная, свежая, бодрая Валя К. как будто решила доказать, что старость приходит лишь к тем, кто на нее согласен. И на последней встрече, как некогда в школе, при виде Вали во мне сразу ожили строки из «Будрыса»: «И, как роза, румяна, и бела, как сметана, очи светятся, будто две свечки». Но там это сказано о полячке молодой, Валя же – русская до последней кровиночки – кустодиевская красавица, но без телесных излишеств, русская Венера, держащая образцовую спортивную форму. Лишь у висков красиво сидели волосы, придавая особую прелесть румянному ясноглазому лицу. Но когда Валя, дослужившись до пенсии, вырастив дочь, не числя за собой никаких долгов: ни гражданских, ни нравственных, радостно готовилась к той новой заботе, что приходит рано или поздно к матерям взрослых дочерей, долголетний спутник ее жизни счел себя свободным от всяких обязательств и решил начать «новую жизнь», полагая, видимо, что старая полностью себя исчерпала. Мы ничего об этом не знали, но рядом с Валею была Лида Ч., которая поняла, в каком душевном и физическом вакууме осталась ее подруга, так любившая свой дружный, веселый, населенный дом, и что ей не справиться одной. Лида настояла на переезде Вали в Ригу к молодоженам.

Недавно там с «инспекционной поездкой» побывал наш друг Шура Б. и привез успокаивающие известия: Валя акклиматизировалась, занимается внуком, обретая былой душевный покой, хотя и очень скучает по старым товарищам.

На нашей встрече я болезненно ощущал черный провал в столь плотно заполненном пространстве – не было яркого кустодиевского мазка, не было Вали...

9

Как бы писатель ни пытался быть верным изображаемой действительности, равнозначия никогда не достигнуть. Всякая «быль» в литературе все-таки не была. И происходит это не из-за спонтанной игры воображения, побеждающей в тебе правдивого свидетеля и добросовестного писца, а в силу неизбежного сгущения материала, из которого ты строишь. Всякое искусство, имеющее дело со временем, обязано работать на сжатие: литература, театр, кино, – иначе действие повести, пьесы, фильма должно быть равно по времени изображаемым событиям, что, разумеется, невозможно. Не стоит говорить о тех исключениях, когда изображаемое событие столь же непродолжительно, как и рассказ о нем.

Сжатием неизбежно уничтожается второстепенное, вроде бы незначашее, лишнее, остается лишь главное, сердцевина. Но если говорить серьезно, разве есть в жизни что-то незначашее, тем паче лишнее? Нередко в этом лишнем, в паузах бытия и заключается то, что станет будущим, и, вообще, главное так переплетено с неглавным, что нельзя их разнять, это не сцеп, а сплав. Кто-то сказал: «Жизнь – не предприятие, а состояние», – мудрейшие слова, и, стало быть, в ней ценно каждое мгновение, вся мимолетность. Литературное сжатие материала действительности независимо от воли автора нарушает пропорции, нередко создает ложную картину.

В моих записях это привело к тому, что Чистопрудные ветераны стали друг для друга словно бы подпорками, некими часовыми дружбы, кассой душевной взаимопомощи. Не товарищеский круг, а кооперативное общество «Дружба», вроде того, что создала калечная героиня маленького и очень сильного романа Эрве Базена «Встань и иди». Это история девушки-инвалида, которая собрала вокруг себя своих бывших друзей и создала «службу взаимовыручки». Для тех социальных условий, в которых действуют герои Базена, и, добавлю, для тех характеров, которые он создал, взбалмошная затея калечки оборачивается высоким подвигом. Но мы – из бессмертной 311-й – живем в иной действительности, у нас нет необходимости все время за кого-то судорожно цепляться, большинство жизненных проблем решается не частным путем, что вовсе не исключает личного участия в чужой судьбе. Но нам противна расцветшая в последнее время меновая форма общения: ты мне достанешь дефицитное лекарство, я тебе – билеты в Большой театр, ты мне – запчасти на машину, я тебе – путевку в Сочи, ты назовешь меня «советским Чеховым», а я тебя – «современным Горьким»... Не стоит дальше перечислять: эта короста на теле общества к моему рассказу никакого отношения не имеет. Но есть и другое, о чем сказала Марина Цветаева: дружба, исключаящая всякую помощь в беде, – это не дружба. И было бы дико, если б мы в угоду голому принципу жертвовали естественной склонностью человеческого сердца прийти на помощь тому, кого любишь. Но вот что важно: у нас никто не просит о помощи, и если ее все же оказывают, то по собственной угадке (за сорок лет лишь считанные разы прозвучал сигнал «SOS!»), но мало этого – помощь принимают, лишь находясь на краю. Мы не хотим обременять нашу дружбу ничем инородным, всеми силами оберегаем ее свет и чистоту от обывательщины любого сорта. Помню, как накинута на своего сына добрая Таня Л., когда тот обратился ко мне с какой-то пустячной просьбой: «Это что еще такое? Мы дружим пятьдесят лет и ни о чем не просили друг друга, а ты, паразит, ишь, сообразил!..» Жизнь, здоровье, судьба – тут мы на страже, но создавать друг другу бытовые удобства недостойно наших отношений. Мы хотим друг от друга лишь того, что дарят глаза, и слух, и кожа, ощущающая, как тепло, присутствие дружественной плоти, и сердце, которому легко и покойно.

Человек атавистически боится за свою спину, нет ничего страшнее нападения сзади. Недаром же и путники на дорогах и прохожие на городских улицах часто без нужды оборачиваются. Когда мы друг с другом, нам не надо озирааться, бояться за свою спину. Чувство без-

опасности, защищенности, которое мы дарим друг другу, возвращает нас к детству, когда мы и впрямь были так чудесно защищены всемогуществом взрослых...

10

Немногословие моих друзей иной раз вызывает досаду. Разве вычитаете необыкновенную судьбу Милы Ф. в коротенькой справке, кончающейся сообщением о присуждении ей в 1978 году Государственной премии СССР «за разработку вопросов консервации крови». Когда-то Юрий Олеся острит по поводу медсестер, бравших у него кровь: «Служба крови», – и сам гордился своей остротой. Но вот то, чем занимается Мила Ф., и есть служба крови в прямом смысле слова.

Много было крови на пути самой Милы, такой домашней, уютной, созданной для теплой, тихой семейной жизни, какая вроде и была обещана ей в детстве. Но прожила она совсем другую: трудную, тревожную, порой мучительную, разрывную, но сильным человеком оказалась наша розовая, толстощекая, русоволосая Мила и обломала рога судьбе, пытавшейся сломать ее.

Бывают дети, чья главная жизнь проходит в школе, там находит пищу их неумная любознательность, раскрываются ранний общественный темперамент, организаторские способности – такими были Женя Руднева, Ляля Румянцева, Бамик Ф.; другим школа дарит успех и поклонение: Ире Б-р, Нине В., Ире Б-вой, или славу – Коле Р., победителю математической олимпиады, выдающимся спортсменам Юре П. и Ване К. Мила в школе была малозаметна, да и не старалась привлекать к себе внимание, не то лишний раз вызовут к доске, училась же Мила весьма средне. Даже зная урок, отвечала тихо, отрывисто, неубедительно, вся красная от смущения, и жалобный взгляд из-под светлой пряди молил: да отпустите вы меня, зачем мучите ребенка? Она не была ни общественницей, ни спортсменкой и многим казалась недалекой девочкой.

Но совсем другой становилась она, когда отваливался школьный гнет. Мне памятен, как золотая сказка, нарядный, изобильный Милин дом, так непохожий на все наши коммунальные норки. Милин отец был крупным военачальником, комкором, семья занимала четырехкомнатную квартиру в большом доме военных между Чистыми прудами и Потаповским переулком. Мы, четырнадцатилетние подростки, приходили в гости к Миле, но ужинать нас приглашали вместе со взрослыми, это было ново и ошеломляюще. Нам наливали по рюмке вина, что еще повышало наше самоуважение, и с удивительным тактом щадили юную ранимость; не было ни фальшивых потуг включить нас во взрослый разговор, ни снисходительного и тем обидного внимания, нас просто предоставляли самим себе. Нам разрешали послушать после ужина, как влюбленный в Милину мать молодой поэт с лишним позвонком в шее громко, раскатисто читал стихи о гражданской войне, в которой по возрасту не мог участвовать.

А потом мы уходили в Милину комнату, где ставили пластинки с хорошей музыкой, смотрели книжки и альбомы по искусству, фотографии знаменитых певцов. Мила была меломанкой, любила театр, видела все лучшие спектакли, много читала, с ней было на редкость интересно, ее нелепая школьная застенчивость оборачивалась тонким очарованием сознающей себя женственности, и я, наверное, влюбился бы в Милу, если б уже не был влюблен в ее мать. Мила была очень похожа на свою мать: красками, линиями, обещанием стати и странным жаром, который то ли исходил от нее, то ли возникал во мне самом как ответное пробуждение чего-то еще неведомого. Но Мила лишь обещала стать тем, чем ее мать уже была. И я смертельно завидовал длинношеему поэту, хоть он и не участвовал в гражданской войне, которую воспевал, но все же носил высокое звание взрослого мужчины.

Свет, музыка, стихи, весь праздник дома кончился в 1937 году, когда отец Милы разделил участь Тухачевского, на которого походил внешне: литой красавец с мощной грудью. Мать Милы пропала на долгие годы, а наша подруга переехала к тетке в огромную коммунальную квартиру в Брюсовском переулке и кончала другую школу.

Я бывал в Брюсовском и узнал новое Милино окружение, ее прекрасную, с легкой сумасшедшинкой тетку, навек зачарованную Надсоном; она напоминала цветок, засушенный меж листов толстого фолианта и забытый там, но не «безуханный», как у Пушкина, а источающий тонкий, сладкий и волнующий аромат старины, где гимназии и курсы, Надсон и святые идеалы, прокуренные сходки и рахманиновские «Вешние воды»; и была еще там молодая арфистка, тоже отключенная от действительности, она играла нам паваны, гальярды и чаконы, я смотрел на Милино лицо, держащее в насильственной улыбке, в расширенных зрачках какое-то бедное мужество, вспоминал ее мать, и мне становилось так больно, что с тех пор я боюсь арфы.

Снова я встретился с Милой уже в войну, в те провальные, черные для меня дни, когда после контузии, госпиталя и медкомиссии судорожно противился предписанной мне участи инвалида. Я разыскал Милу через ее тетку; война, чадающая и не дающая тепла печурка в неотапливаемой комнате, «служащая» карточка, по которой изредка давали яичный порошок и порошковое молоко, не поколебали любви тетки к Надсону и верности святым идеалам. Мила жила теперь у своей свекрови, в Сверчковом переулке, наискось от дома, где я родился и прожил первые семнадцать лет жизни. Оказывается, она вышла замуж за недруга моих отроческих лет, черноглазого мотоциклиста Дарика и уже стала вдовой – Дарик погиб на фронте. Но когда я пришел в ее грустный дом, мальчишеские драки и вражда были справедливо расценены как старая дружба, и меня по-родному встретили – не только сама Мила, но и мать Дарика, красивая армянка со строгим аристократическим профилем. Я никогда не видел, чтобы мать, только что потерявшая сына, с таким достоинством несла свое горе. Она не избегала говорить о сыне, охотно слушала мои рассказы о нем, но не позволяла переходить какой-то грани, где начиналось царство лишь ее скорби. Отношения свекрови с невесткой нельзя было назвать просто хорошими, даже нежными, это было какое-то взаимопроникновение друг в друга, братство боли, неразмыкающееся душевное объятие. Мне открылось это довольно неожиданным образом. Поначалу я опасался, что мой вид неприятен матери Дарика – живой, а ее мальчик лежит в мерзлой земле; болтающий языком, когда он замолк навсегда, и почему я возле Милы – школьный друг? – ну, так и оставайся в памяти детства. И вдруг я понял: она хочет, чтобы я был у них, рядом с Милой, и не только у них, совсем не у них, чтобы я увел Милу в другую жизнь, ибо она не считала жизнью Милино существование при ней. Она знала, эта умная армянская женщина, что у нее самой есть более сильный стимул выжить, чем у Милы, ей нужно вырастить младшего сына, и у нее хватит сил это сделать без помощи выматывающей себя ради них молодой женщины, ставшей вдовой, едва вступив в брак.

Мила окончила стоматологический институт – туда легче было поступить, чем в любой другой медицинский, но война сделала из нее хирурга, сперва по лицевой, а там и по общей хирургии. И открылся Милин талант – она оказалась хирургом милостью божьей, вскоре ей стали доверять самые сложные полостные операции. Она работала на износ: операционная, истерзанные человеческие тела, кровь, кровь, смертельная усталость, печальный полумрак дома свекрови – вот и все. А матери Дарика хотелось для нее хоть немного счастья. И я чувствовал, что темные глаза этой женщины испытующе и вроде бы с надеждой останавливаются на мне. У Милы никого не было, кроме пребывающей в эмпиреях тетки, а тут появился выходец из ее прошлого, однокашник, товарищ погибшего мужа, старый друг, знавший и читивший ее родителей, крепко стукнутый фронтовик, последнее тоже было важно – не тыловой сверчок. Догадывалась ли Мила о том, что никогда не облакала в слова ее свекровь? Не знаю. Что думала сама Мила о нашей вновь начавшейся дружбе, такой же странно осторожной и что-то всегда не договаривающей, как в детстве, – не знаю. Я был свободен и подавлен этой непрощенной свободой, потеряв – не в смерти – свою первую любовь. Но я был подавлен не только любовным крахом. Я вроде бы уцепился за поручень уходящего поезда – съездил корреспондентом-разовиком от «Комсомольской правды» на исход Сталинградской битвы, когда подчищали Тракторозаводской поселок, увидел и первые шаги возрождения почти уничтоженного

города, написал обо всем этом и получил приглашение стать... собкором по глубокому тылу. Но и это еще полбеды: возвращаясь из Сталинграда товарным вагоном, прицепленным к эшелону с немецкими военнопленными (может, на одном из них сидела та сыпнотифозная вошь, которая погубила Лялю Румянцеву?), я отравился трупной водой, которую набирал прямо с раскисших мартовских полей – нескончаемого солдатского кладбища. Водокачки были взорваны, разбомблены, а машинист запретил брать воду из паровоза. Я заболел сталинградским колитом, так называли врачи эту ужасающую желудочную болезнь. Мало того, что я исхудал, как скелет, ослабел, как дистрофик, через каждые пятнадцать-двадцать минут я должен был мчаться в туалет, невзирая на обстоятельства. Мила – врач, она и не такое видела, но в качестве жениха я сам себе был омерзителен. И я дал себе слово исчезнуть до полного выздоровления – будто можно хоть от чего-то вылечить! Когда же немного пришел в себя, то сразу уехал на фронт военным корреспондентом «Труда», а вернувшись, как раз успел на Милину свадьбу, которую справляли в знакомом доме по Брюсовскому переулку.

Мила увидела своего будущего мужа впервые на госпитальной койке, затем на хирургическом столе. Я уже говорил, что она стала хирургом «за все», ей доверяли – и охотно – случаи, теоретически безнадежные. Распространено мнение, что у хирургов руки похожи на руки пианистов, та же мощь с утонченностью (вспомните сильные, длиннопалые, чуткие руки знаменитого хирурга Юдина на портрете Нестерова – чем не дивные руки Святослава Рихтера!). Но и у выдающихся пианистов бывают маленькие руки, едва охватывающие октаву, например, у Генриха Нейгауза, учителя Рихтера. И маленькие, пухлые руки Милы с тонкими короткими пальцами, облитые резиновыми хирургическими перчатками, умели делать чудеса, приближаясь к истерзанной плоти раненого. Но такой истерзанной, такой измученной плоти еще не видела хирург Ф.: от молодого, красивого лейтенанта осталась одна оболочка, внутри все было перемолото. И Мила начала борьбу за человеческую жизнь, как делала уже сотни раз, с той лишь разницей, что никогда еще борьба не казалась ей настолько безнадежной. И невдомек ей было, что в эти нескончаемые, мучительные часы над операционным столом она спасала не только жизнь молодого офицера, но и свою собственную судьбу, своих будущих детей и детей этих детей. Наверное, лейтенанту очень хотелось жить, потому что одной медицины тут было недостаточно. Его молодая воля к жизни помогла и хирургу, потерявшему сознание по окончании операции, и всем тем, кто потом раздвигал еле тлеющий огонек.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.